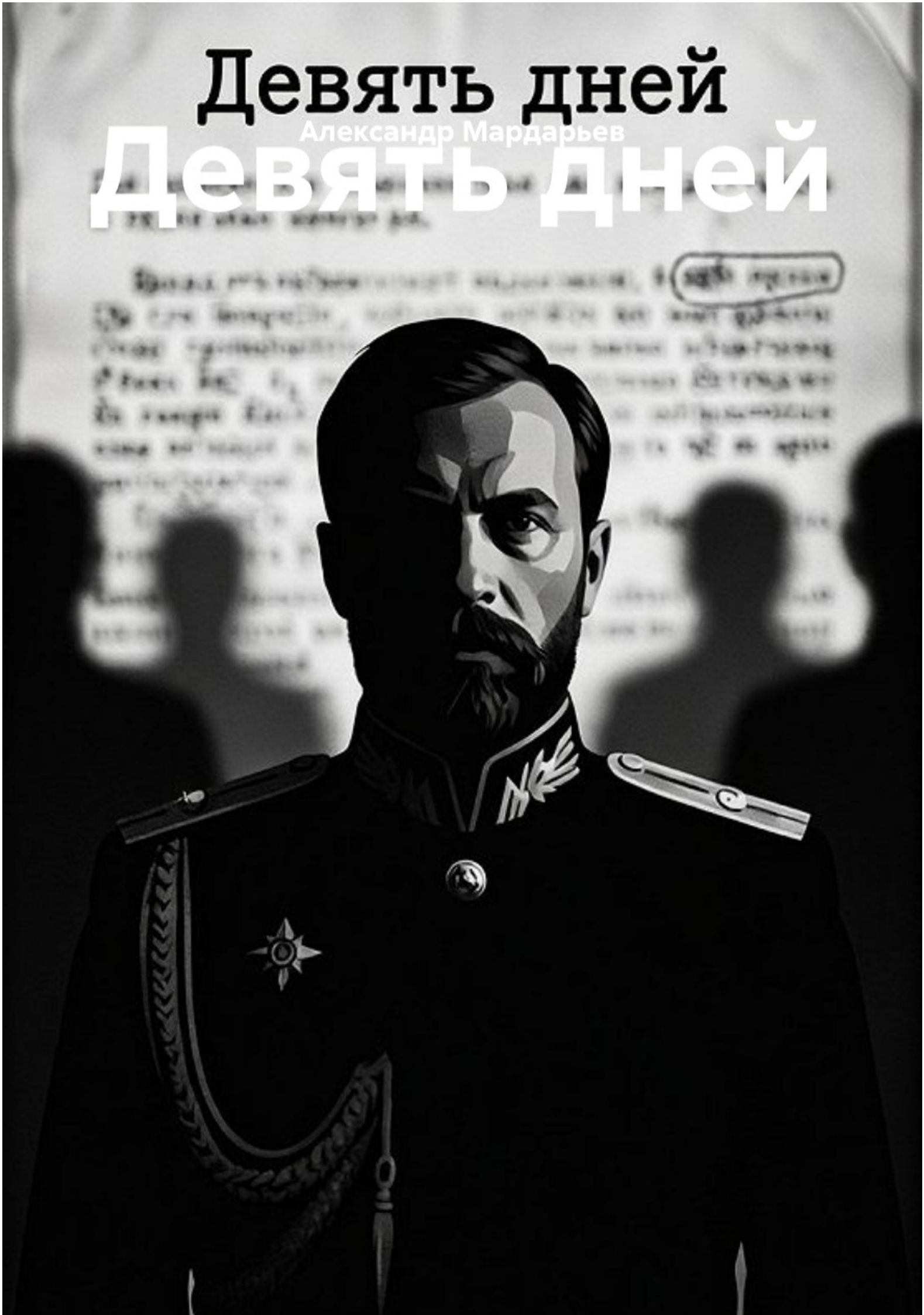
Девять дней

Александр Мардарьев

Девять дней



Александр Мардарьев

Девять дней

«Автор»
2026

Мардарьев А. П.

Девять дней / А. П. Мардарьев — «Автор», 2026

«История последних девяти дней адмирала Александра Васильевича Колчака, который до конца оставался верен своему курсу».

© Мардарьев А. П., 2026
© Автор, 2026

Александр Мардарьев
Девять дней

А. П. Мардарьев
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
Роман в девяти допросах по материалам уголовного дела адмирала А. В. Колчака, рассекреченным ФСБ России и впервые представленным публике в Омске в ноябре 2026 года.
© А. П. Мардарьев, текст, 2026
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К 45
ISBN — присваивается издательством при подготовке к печати.
Возрастная маркировка: 16+
Оглавление
Пролог. «Ночь перед первым допросом» — 20–21 января 1920
Вставка первая. «Вагон с пятью флагами» — 24 декабря 1919–15 января 1920
Вкладыш. «Арифметика» — ночь на 16 января 1920 года
Часть первая. «Числа»
Глава первая. «Числа» — 21 января. Допрос первый
Глава вторая. «Морская вода» — 22 января. Допрос второй
Вставка вторая. «Солнце, которое не садится» — ночь на 24 января 1920
Глава третья. «Порох и вода» — 25 января. Допрос третий
Глава четвёртая. «Огонь и глубина» — 26 января. Допрос четвёртый
Вставка третья. «Ты можешь» — 27 января 1920
Глава пятая. «Ледокол» — 28 января. Допрос пятый
Глава шестая. «Тимирёва А.В.» — 29 января. Допрос шестой
Глава седьмая. «Омск» — 1 февраля. Допрос седьмой
Глава восьмая. «Иркутск» — 5 февраля. Допрос восьмой
Интерлюдия. «Карта мыслей» — ночь с 5 на 6 февраля
Глава девятая. «Протокол, который не подписали» — 6 февраля. Допрос девятый
Часть вторая. «Голоса»
Глава десятая. «Голос Софьи» — Париж, весна 1920 года
Глава одиннадцатая. «Голос капитана» — двадцать лет спустя
Глава двенадцатая. «Голос следователя» — осень 2026 года
Часть третья. «Земля»
Эпилог. «Рисунок сына» — Париж, весна 1920 года
Послесловие. О мере вымысла и о том, что здесь — человеческая история
От автора
От автора

В основу этого романа легли материалы уголовного дела адмирала А. В. Колчака — девятнадцать томов допросов, переписки и свидетельств, — рассекреченные ФСБ России и впервые представленные публике 7 ноября 2026 года в Омске. Девять протоколов допросов, личная переписка и свидетельства очевидцев — всё это годами лежало под грифом «секретно».

Я лишь попытался услышать за сухими строками протоколов живые голоса: следователя, адмирала, его жены, его офицеров.

Александр Васильевич Колчак (1874 – 1920) — и полярный исследователь, и флотоводец, и политический лидер Белого движения, Верховный правитель России.

Вела допрос — Чрезвычайная следственная комиссия (ЧСК) иркутского Политцентра, затем губчека. Допросы шли с 21 января по 6 февраля 1920 года в кабинете коменданта губернской тюрьмы.

Эта книга — не историческое исследование. Это попытка реконструировать последние девять дней жизни человека, который до самого конца оставался верен однажды выбранному курсу.

Об одной намеренной неточности. В первом протоколе следователь записывает год рождения Колчака как 1873, хотя адмирал родился в 1874 году. Это не авторская ошибка и не опечатка. Колчак замечает неверную запись уже в первый день, но не поправляет её сразу: он не суетится по мелочам и не спорит с человеком, который ведёт документ небрежно. Он возвращается к этой ошибке только в девятом допросе — и просит внести исправление. Для него протокол — не канцелярская бумага, а документ, за который кто-то должен отвечать. То, что следователь ошибся, а исправлять пришлось Колчаку, — ещё одна тихая характеристика и следствия, и самого адмирала.

Следователи:

Константин Андреевич Попов — председатель ЧСК (по протоколу), присяжный поверенный, меньшевик-интернационалист; вёл первый допрос, снял официальное предупреждение о праве не отвечать.

Всеволод Петрович Денике — заместитель председателя, меньшевик; бывший присяжный поверенный.

Георгий Иосифович Лукьянчиков — член комиссии, правый эсер, от профсоюзов Сибири

Александр Николаевич Алексеевский — член комиссии, правый эсер; самый активный допрашивающий — на него пришлось две трети из 325 вопросов.

Самуил Григорьевич Чудновский — большевик, после смены власти в Иркутске возглавил следственную комиссию (с 17 февраля — председатель губчека); лично задал Колчаку лишь несколько вопросов, но именно он в ночь на 7 февраля вручил постановление о расстреле вместе с комендантом города.

Пролог. «Ночь перед первым допросом»

20–21 января 1920 года. Иркутск

Колчак не спал. Не оттого, что не мог: тело давно научилось спать в любых условиях — в шинели, в каюте, в бараке плена. Он не спал, потому что впервые за четыре года вокруг него стояла тишина. Никаких донесений, приказов, депеш, стука колёс под окном вагона. Только мороз скрипел снаружи — терпеливо, как зверь, который умеет ждать.

И в этой тишине первая мысль пришла неожиданно будничная:

«Холодно. Интересно, в могиле холоднее или теплее, чем здесь?»

Он не отогнал её. Такие мысли он давно держал при себе — как держат карты: не из стыда, а потому что ими не делятся без надобности. Мысль повисла, подумала сама с собой и ушла — а за ней пришло тело: холод в кончиках пальцев, запах камеры — сырость, хлорка, остывший чугун печи.

На столе горела свеча. Тюремщики дали её не из жалости — свечи здесь выдавали по счёту, как хлеб. Но огонь уже с первого вечера узнаваемым: он помнил этот свет с детства, со свечей перед иконами в будничной церкви, с того вечера, когда дед зажигал свечу перед письмами.

Рядом лежала книга — та, что успел выпросить у конвоя. Он открыл её не читать. Просто держал ладонь на странице, как держат руку на перилах: не чтобы опираться, а чтобы знать, где кончается опора.

За окном — узкой щелью, сквозь которую невозможно было увидеть ничего, кроме полосы черноты, — дышала зима. Где-то там, по другую сторону этой стены, стоял город, замёрзший в ожидании. Где-то дальше — Франция, поезда, море, мальчик, которому он обещал звёзды. Всё это было ближе и дальше одновременно, как берег в тумане: знаешь, что есть, — не можешь ухватить.

Он поправил фитиль. Пламя выровнялось. Руки были сухие, как бумага, и он сжал их в кулаки, чтобы согреть, — так же, как когда-то на мостике, в шторм, когда пальцы отказывались держать штурвал.

— Завтра, — сказал он вслух, одному себе, потому что больше в этой комнате никто не слушал.

И свеча — без его разрешения и без его надежды — горела дальше, упрямо, как всё, чему он научился в этой жизни. Пока горит свеча, у него ещё есть эта ночь. И её надо прожить по-человечески: согреть руки, выпить воды, запомнить, как звучит тишина, в которой никто не спрашивает, кто ты и зачем.

Вставка первая. «Вагон с пятью флагами»

24 декабря 1919–15 января 1920

На столе догорала свеча, и в её маленьком круге Колчак вёл счёт — не дням до расстрела, а дням, отпущенным после того, что уже случилось. Не от наказания — от того, как всё кончилось раньше этой камеры.

Кончилось в вагоне под Нижнеудинском.

…Чехословацкий полковник пришёл вечером и извинился — очень вежливо, по всей форме: эшелон задержан, дальнейшее движение невозможно, адмирал просит считать себя под охраной союзных держав. Вагон, куда его перевели, был прицеплен к составу восьмого чехословацкого полка, и над окном его висели пять флагов: английский, французский, американский, японский и чешский. Символ того, что он под защитой. Он смотрел на них в промёрзшее стекло и знал уже, что защита эта — не крыша, а крышка.

Позже, когда материалы этого дела — девятнадцать томов допросов, переписки и свидетельств — были рассекречены и впервые представлены в Омске, в одном из документов нашли его собственную фразу: «Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом». Тогда, в вагоне, он этого ещё не говорил. Но это уже было в нём — как курс, который держат, даже когда не знают, куда он ведёт.

Прежде, в Омске, садясь в поезд, он сказал одно слово — и его потом повторяли за ним как пророчество: «Продадут меня эти союзнички». Уменьшительное было не презрением — оно было точным. Он называл их так, как называют вещи, которые нельзя зауважать, но с которыми приходится жить.

А в Иркутске, когда уже стало ясно, что состав стоит не для охраны, Жанен предложил ему последнее: передать золотой запас под международную опеку — все пять держав гарантируют сохранность для будущей России.

— Я вам не верю, — ответил Колчак. — Золото скорее оставлю большевикам, чем передам союзникам.

Говорят, эти слова стоили ему жизни. Он не знал этого — и, отвечая, не думал о цене. Он думал о том, что золото — государственное достояние, и решать его судьбу в пользу тех, кто уже однажды использовал его как товар, он не может. Даже стоя один в вагоне с пятью флагами.

Жанен пришёл в вагон сам. Без конвоя, без охраны — так приходят не к пленному, а к человеку, с которым осталось одно несделанное дело. За ним вошёл адъютант с портфелем и остался у двери — так стоят те, кому не положено слышать, но положено записывать.

Жанен был аккуратен, как человек, всю жизнь строивший парады. Он снял перчатки — не из тепла: у французов этот жест значит почтение к месту, где находишься. Сел без приглашения. Посмотрел на пять флагов за окном — и не на Колчака.

— Месье адмирал, — сказал он по-русски, выговаривая слова так, как ходят по чужому льду: осторожно, пробуя каждую опору. — Ситуация вам известна. Столица Сибири пала. Дорога — не ваша. Остаётся последнее, что вы можете защитить.

— Золото, — сказал Колчак. Не спросил — назвал.

— Да. Пять держав готовы взять его под международную опеку. Гарантии — письменные, всех пяти флагов. Для будущей России. Ни одна монета не уйдёт ни в Париж, ни в Лондон, ни в Токио. Это не конфискация, месье адмирал. Это траст.

Колчак молчал. Он считал — но не деньги. Деньги он умел считать быстрее всех в этой стране: семнадцать вагонов, реестры, накладные, пломбы. Он считал подписи.

— Кто поставит подпись под актом? — спросил он.

— Мы. Вместе.

— Пять держав. Вы. — Колчак кивнул на окно, на флаги. — А платить будет Россия. Дважды: один раз — золотом, второй — тем, что её золото оказалось чужой собственностью.

— Месье адмирал, это цинично с вашей стороны.

— Это арифметика, — сказал Колчак. — Вы научили меня ей, когда покупали у нас оружие в четырнадцатом и ждали платежей в семнадцатом. Я тогда тоже думал, что это траст.

Жанен не дрогнул. Он был слишком стар для сцены и слишком хорошо знал расклад — и, возможно, именно поэтому пришёл сам: приказ отдавать уже было некому.

— Вы держите в руках последнее, что осталось от вашей России, — сказал он тихо.

— Нет. — Колчак посмотрел на него в первый раз за весь разговор. — Я держу в руках то, что мне вверили. Эти вещи разные, генерал. Вы всю карьеру держите чужое — и отдаёте под расписку. Я держу вверенное — и расписки не пишу.

Пауза. Жанен надел перчатки — жест обратный снятию: конец аудиенции. У двери он остановился и сказал, не оборачиваясь:

— Вы ошибаетесь, адмирал. История всё рассудит.

— История ничего не рассудит, — ответил Колчак. — История только запишет. Как и лёд: он не решает, кто прав. Он решает, кто пройдёт.

Дверь закрылась. В вагоне остались запах чужого одеколона и скрип колёс — и он сам, один, в круге огня — огня, которого здесь никто не давал, но который всё равно горел, как горит всё, что держат при себе.

Над окном висели пять флагов. Он смотрел на них и думал не о том, что сказал, а о том, что не сказал: что золото, отданное под чужую опеку, перестаёт быть казной и становится закладом. Что Россия не была заложницей ни разу в своей истории — и он не станет тем, при ком стала впервые.

Он не знал — и не мог знать, — что эти слова запишут за него. Что цена им будет назначена через три недели, без аудиенции, без перчаток и без расписки. Он знал только то, что знал всю жизнь: если курс верный, он не зависит от погоды. И что «служить» — значит иногда проигрывать всё, кроме себя.

Четвёртого января, в Нижнеудинске, он подписал указ: власть передавалась Деникину. На востоке — Семёнову. Это была не отставка и не отречение — это было завещание: власть не должна умереть вместе со мной. Он подписал, отложил перо и впервые за все эти месяцы почувствовал странную лёгкость, похожую на стыд.

Десятого января состав двинулся. Пятнадцатого он стал на станции Иннокентьевской — и дальше не пошёл. Никто не объяснял почему. Потом приехали на станцию Иркутск, и начальник эшелона ушёл к командиру чехословаков и вернулся с коротким сообщением: адмирал будет передан революционному правительству.

В ту ночь офицеры, остававшиеся при нём, собрались в тамбуре. Старший по званию — капитан второго ранга — подошёл к Колчаку и, не поднимая глаз, сказал:

— Есть план, ваше превосходительство. Мы можем взять вагон силой. Есть люди. Есть оружие. Мы выбьем дверь, если надо. И уйдём в тайгу.

Колчак молчал несколько секунд. Не для того, чтобы тянуть время, а чтобы услышать в себе не гордость и не страх, а простую арифметику.

— Сколько людей погибнет? — спросил он тихо.

— Не знаю, — честно ответил капитан. — Но мы готовы.

— А я не готов, — сказал Колчак. — Не за свою жизнь. За ваши. Если начнётся стрельба — погибнут не только ваши. Погибнут и те, кто не выбирал этой войны. Я не возьму эту кровь на себя.

Капитан кивнул. Он не спорил — он ждал именно этого ответа. Он знал, что если адмирал согласится, это будет не спасение, а убийство. А если откажется — это будет его выбор, а не их вина.

— Слушаюсь, — сказал капитан и сделал шаг назад. — Мы будем рядом. До конца.

И они ушли. Не с криками, не с клятвами, а тихо, как уходят люди, которым нечего обещать. В коридоре вагона стало пусто, и эта пустота была громче любого шума.

В девять часов вечера в вагон вошли трое. Они были с бумагами — с актом, написанным заранее, будто операция была отрепетирована на бумаге раньше, чем в жизни. Они назвали себя: член Политического центра, помощник командующего Народно-революционной армией, уполномоченный Центра. Прочитали вслух:

«Приняли от командира первого батальона шестого полка бывшего Верховного правителя адмирала Колчака и бывшего председателя Совета министров Пепеляева». Спросили оружие. Он отдал его без слов — и в этом была вся простота: оружие отдают, когда оно больше ничего не решает.

Их провели через Ангару по тонкому льду — к машинам на городском берегу. Внизу, под ногами, текла тёмная вода — и он шёл по ней, по живому, по ещё не замёрзшему, и в этом было что-то от испытания: если лёд под тобой — значит, живой.

Губернская тюрьма приняла его без унижения. Одиночная камера. Свеча. Книга. Он положил ладонь на стол — стол был тёплым от печи, и это тепло впервые за многие недели показалось ему по-настоящему нечеловеческим: не от людей, от железа.

Первая ночь была не про мысли — про тело. Оно не слушалось нового порядка. Он пытался сесть — и понял, что не знает, где можно сидеть. Пытался лечь — и почувствовал, как грубая ткань шинели царапает шею, будто сама форма теперь была чужой кожей. Он стянул её, бросил на пол — и сразу стало холоднее. Холод шёл не только от окна — он шёл от

стен, от пола, от самого воздуха, который здесь был другим: тяжёлым, неподвижным, как вода в колодце.

Он сел на нары. Доски были сырыми, и холод от них поднимался вверх, к плечам. Он обхватил себя руками, пытаясь удержать тепло, и вдруг поймал себя на том, что делает это не для себя — будто пытается сохранить что-то, что уже почти ушло. И тогда пришла не мысль, а ощущение — простое, как удар:

Шесть дней никто не спросил у меня ни одного вопроса. Это хуже вопросов.

Ночь была длинная. За стеной дышал город, ещё не знавший, что в нём есть человек, за которого все ждут и которого все, возможно, уже сдали.

Он не сказал тогда ни одного слова. Ни размышлений о предательстве — кроме того, что уже сказал в Омске, — ни проклятий, ни просьб. Он просто смотрел на свечу, и свеча горела ровно, потому что не знала, что её могут погасить. И он подумал, что это, в сущности, единственное, что ему теперь остаётся: гореть ровно — не оттого, что знаешь исход, а оттого, что так положено.

Вкладыш. «Арифметика»

ночь на 16 января 1920 года. Иркутск

Штаб Жанена занимал два вагона на соседнем пути. В первом — картеуз: Сибирь во всю ширину, от Урала до Владивостока, и по карте эта ширина была меньше, чем в жизни, — карта не умела показывать снег. Во втором — стол, лампа, секретарь, который не спал уже третьи сутки, потому что никто не отменил его графику.

Жанен вернулся за полночь. Вошёл, не сняв шинели, сел к столу — и только потом стянул перчатки. Так же, как в вагоне: жест, который значит почтение к месту. Только место теперь было его.

— Записывайте, — сказал он по-французски.

Секретарь взял перо.

«Генеральному штабу. Военному министру. Присутствию Совета. Адмирал отказал. Вручение золотого запаса под международную опеку отклонено в категорической форме. Доводы его — государственные; я передаю их без перевода, потому что перевода они не требуют: он считает казну вверенным, а не конфискуемым имуществом. Относиться к этим доводам следует серьёзно: адмирал — единственный человек в этой истории, который не торгуется. Положение: Иркутск в руках Политцентра. Красные — в тридцати верстах. Чехословацкие части требуют эвакуации и отказываются охранять что-либо, кроме собственного состава. Адмирал передан местным властям — по акту, составленному заранее. Руки — чешские, подпись — общая. Оценка: адмирал не бежал. Он дал возможность взять вагон силой — его офицеры предлагали — и отказал им сам. Причина названа им без пафоса: цена чужой крови. Такие люди не торгуются и не бегают. Они идут туда, куда поставил их собственный приказ. Предполагаю сказать присутствию то, что скажу теперь: спасти его было можно до передачи. Мы не спасли. Спасти теперь можно только нашего. Армия — тысячи — не должна платить за одного. Это не предательство. Это арифметика. Отмечу отдельно и со всей точностью: передача совершилась без нашего решения — руками чехов, которые уже подписали акт нейтралитета и не желают умирать за русский вопрос. Мы лишь не препятствовали тому, что совершалось без нас. Разница между „не спасли“ и „отдали“ будет разыграна затем в газетах. Пусть. Слово дороже действия — такова власть журналистики, и против неё у меня нет артиллерии. Остаюсь с уважением. Жанен».

Секретарь переписал набело. Жанен взял лист, прочёл, поправил одну фразу — не смысл, интонацию: перо поставило само слово «жаль», против желания руки; Жанен снял его.

— Отправить с утренней почтой, — сказал он. — И…

Он посмотрел на перчатки, лежавшие на столе. Потом на лампу. Потом снова на перчатки.

— Ничего. Идите.

Секретарь ушёл. Лампа горела ровно — так горят не свечи, а учреждения: без дрожи, без человеческого фитиля, без счёта. Жанен сидел один и делал то, что делают все штабные люди на войне, когда решение уже принято и отнято у них чужими руками: считал. Не деньги — деньги были посчитаны. Он считал то, чему в штабах не учат: сколько останется от человека, если вычесть из него всё, что он не смог защитить.

Выйдя из вагона адмирала, он думал одно; теперь он мог думать другое — такова привилегия тех, кто пишет телеграммы: их можно писать в двух лицах. Одно — для архива. Другое — для себя, и оно никогда не попадает в протокол.

Он думал о том, что адмирал сказал ему вслед, — не ту фразу, которую он привёл в донесении, а другую, которую он не записал:

— История ничего не рассудит, генерал. История только запишет.

Жанен не согласился с этим тогда. Теперь, в пустом вагоне, при лампе, у которой не было лица, он не согласился с этим по-прежнему. Но он сделал жест, которого никто не видел: накрыл перчатки ладонью — так накрывают то, что больше не возьмёшь в руки.

За окном горел город. В городе, в тюрьме, у железной печи горела свеча — по регламенту, до десяти. Два огня горели в одну и ту же сибирскую ночь: один — потому что кто-то позволил, другой — потому что кто-то решил. И между ними шла Ангара, по которой несколько часов назад провели человека по льду — потому что тёмная вода подо льдом означала, что он ещё жив.

Жанен этого не знал. Он знал только, что телеграмма уйдёт с утренней почтой, что подпись под ней — его, и что арифметика, которой он оправдывался всю жизнь, никогда не даёт остатка. У арифметики нет остатка. Он есть только у человека.

Часть первая. «Числа»

Глава первая. «Числа» — 21 января. Допрос первый

Допрос начался не с выстрела и не с грубости — с анкеты. Молодой мужчина в потёртой шинели разложил на столе листы, вывел дату, заскрипел пером и спросил:

— Фамилия?

— Колчак.

— Имя-отчество?

— Александр Васильевич.

— Год рождения?

Колчак ответил — и в тот же момент понял, что ошибся. Услышал собственный голос со стороны, как чужой: «Я родился в тысяча восемьсот семьдесят третьем году, мне теперь сорок шесть лет». А он родился в семьдесят четвёртом, в ноябре — он знал свою биографию назубок, как лоцман знает фарватер. Но перо уже прошло по бумаге, и ошибка легла в протокол — лёгкая, неуловимая, как первая трещина на льду, по которой нельзя судить о том, как встанет вся река.

Следователь не заметил. Или сделал вид. Он продолжал ровно, вопрос за вопросом: служба, чины, должности. А потом поднял глаза — впервые за всё время не от бумаг, а от бумаг на человека:

— Отчество вашего отца. Происхождение?

— Французское, — ответил Колчак.

И слово — «Франция» — упало в тишину камеры, как монета в колодец. Оно падало долго. Оно падало сквозь все этажи этой комнаты: мимо анкеты, мимо протокола, мимо того, кто писал, и того, о ком писали. Далёкое слово. Слово о старом доме на Обуховском заводе, где всё ещё пахло порохом от отцовского мундира и воском свечей, — и оно было совсем не про Францию.

…Обуховский завод стоял у Невы, и утро там начиналось с гудения: завод дышал, как огромное животное, и от этого дыхания дрожали стёкла в их доме. Саша родился в этом гудении — и потом всю жизнь, где бы ни был, засыпал под шум, похожий на него: под скрип такелажа, под гул моторов, под ветер в реях.

Мать — Ольга Ильинична — почти не повышала голоса. Она была близорука и держала лорнет перед собой, когда читала, — и в этом жесте, в этой руке, поднятой к глазам, было столько постоянства, что он запомнил её именно так: не в лицо, а в жесте. Она никогда не кричала. Она говорила тихо — и тихое у неё звучало сильнее чужих громкостей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.